

АЛКА ЗЕЛЬЦЕР

Мы не виделись лет двадцать пять, и когда столкнулись в магазине, она сразу после «здравствуй» сказала: как ты постарел.

Я, конечно, не стал отвечать, мол, на себя посмотри.

Я промолчал – всегда теряюсь в такой ситуации безапелляционных заявлений очевидного, но подаваемого как откровение, причем посетившее заявителя в одностороннем порядке.

Ах ты ж боже ж мой! Как ты постарел!

А ты как будто нет.

Зовут ее Алла, судя по всему, она думает, что обладает отрезвляющим эффектом, поэтому логично дать ей фамилию – Зельцер.

В общем, я выдавил улыбку и сказал: время-то идет.

Двадцать пять лет назад, а точнее, тридцать шесть лет тому, она была тонкая, звонкая, умная, красивая, загадочная и, не буду врать, сводила меня с ума. Любому, кто пытался срифмовать по тогдашней подростковой похабной, согласно возрасту, моде: «алка – давалка», я бил в зубы. Однажды разбитые костяшки распухли, загноились, потемнели, и под толстой наросшей кожей явно прощупывалась какая-то мерзкая субстанция, типа кровавого гноя. Я содрал болячку и ходил с перебинтованной рукой с полгода, если не больше. За это время на меня успел наехать некий местный молодой лев, жаждущий жизни, и мы забили перенести драку на время, когда рука заживет. Но она не заживала. Лев глумливо торжествовал и однажды, встреченный нами в кинотеатре на фильме с Бельмондо, был избит моим корешом Коляном. Просто так. В назидание и потому что надоел.

Бил его Коля внизу у выхода из зала.

Бил приговаривая: ты зачем, сука, мешаешь культурному отдыху трудового крестьянства? (Коля был из деревни Грабиловка.)

А Алка меня сдала чуть попозже.

Сдала, конечно, по моим и божеским меркам, по девичьим она не сделала ничего предосудительного. Молодой лев с приятелями завел с ней фривольную беседу, полную опять же по тогдашней (или вневременной?)

моде сексуального игривого подтекста, а в конце прошелся по мне, и Алла с ним согласилась. Иди на хрен, сказал я льву на перемене, хочешь, чтобы я тебе торец подравнял, чушок? Докажу, парировал лев. Ну.

И доказал.

Есть военное слово «рекогносцировка». Оно как нельзя больше подходило к ситуации. Мы пришли в подъезд Алки и огляделись. Лев предложил схему. Я встал ниже на одну площадку – между шестым и седьмым, а он, выше этажом, позвонил в дверь ее квартиры. Это была диспозиция, если уж продолжать пользоваться военными терминами. Дальше битва. Алка вышла, и лев затеял с ней тот же примерно разговор. Тогда с девочками беседовали на лестничных площадках часами. Мне было хорошо слышно. Она опять подтвердила. Я сейчас уже не помню. Допустим, он сказал: Олег ведь чмо? А она сказала: конечно, и засмеялась.

Я пошел вниз пешком. Я быстро пролетел все ступеньки, стараясь сделать это по возможности бесшумно, и вышел из подъезда.

Грудь мою разрывало бешенство пополам с дикой злобой на предательство Алки. Я был уверен, что у нас взаимная любовь. Я был уверен, что мы пойдем друг за друга на костер, Голгофу или куда там еще ходят фанатики. Я был уверен, что она никогда не станет говорить мерзким кокетливым игрушечным голоском с таким говном, как молодой лев, жаждущий жизни. А она говорила... А она не пошла, а она... И так далее...

Я даже не стал дожидаться чувака, чтобы разобраться. Предъявить ему по нашим, опять же тогдашним, понятиям было нечего. Можно было только свалить внезапным ударом в лицо и с наслаждением бить ногами, до тех пор, пока тошнотворная усталость не сменит кровавый туман в голове и перед глазами. Но до такого все-таки мы, слава богу, не доходили.

Я поплелся домой.

Наверное, я курил одну за другой, не помню. Мы, мальчишки, всегда в подобных нервных ситуациях много курили. Мне и сейчас иногда хочется закурить, когда я психую. Хотя бросил десять лет назад. Курить, не психовать.

А спустя еще некоторое время мне стало стыдно.

Сразу и за все.

За весь этот сволочной случай «доказательства». Я не мог понять, как сумел втравить себя в поступок бесконечно унижающий Алку. Мне было стыдно и больно за нее. На себя стало наплевать, все обиды и амбиции ушли куда-то. Остался только сырой, как руда, стыд. И ощущение, будто вляпался во что-то похуже коровьей лепешки, в которую я однажды наступил на турбазе.

Может, тогда я чуть-чуть повзрослел.

А может, и нет. Все эти рассказы про внезапное взросление после экстраординарных случаев – полная ерунда. Люди не взрослеют никогда, так и помирают с обидами, испытанными в четвертом классе после летних каникул...

Молодой лев меня больше не интересовал, и я совершенно не знаю, что с ним случилось. А Алка спустя двадцать, что ли, лет со дня последней, тоже случайной встречи, увидела меня в универсальном магазине, сощурилась и сказала: как же ты постарел.

Даже вот так – ого, как же ты постарел!

ДЕЛИКАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Рае Бронштейн с любовью

Миша Исаков – деликатный человек.

Вчера, пока он с книжкой в туалете сидел, жена на работу собиралась и, уходя, выключила свет. Сказала «пока» и выключила. В том числе в туалете. Миша даже не заорал, так и просидел в темноте, пока все дела не доделал. На ощупь.

Книжка у него – «Кашеева цепь» Михаила Михайловича Пришвина. Миша его очень любит, и за то что тезка, и за плавную размеренность повествования. Успокаивает. Примиряет. Учит видеть прекрасное, там, где оно не ночевало. Опять же сплошная природа, а она не обидит. Или обидит? Трудно разобраться. А вообще Пришвин тоже человек деликатный, несколько самоуглубленный. Так и не заметил советскую власть на местах.

В романе Пришвина Мише особенно нравились диалоги, например: «– Держись поумнее, безобразием нашим не хвались. – Каким безобразием? – Обыкновенным безобразием, что бога нету, что царя не надо. Тебя с волчьим билетом выгнали...»

Миша в этих строках находил много верного и сходного со своей судьбой. Тоже случалось в ней всякого, и с волчьим билетом выгоняли из школы, и чем похуже грозили, а все из-за нее, из-за деликатности.

Деликатным Миша был с детства, точнее сказать, он таким родился. Он и вылезать-то не очень хотел на белый свет, все сопротивлялся, как чуял. Но это тема затертая, и останавливаться на ней мы не будем. А деликатность Мишина проявлялась по-разному, но всегда. То к однокласснику в гости придет и постесняется позвонить в квартиру. Так и будет стоять на лестничной площадке до вечера, наблюдая, как кончается долгий летний световой день, пока Юрка Туманов не выйдет по каким-то своим делам и не удивится. Ты чего, спросит, тут делаешь? Тебя жду, ответит Мишка. А чего ж не звонишь? Не знаю. А если бы я не вышел?

А то в автобусе на ногу наступит мерзкая старуха с бородавкой и кошелкой, а Миша так и едет до конца, не прогонит, не возмутится. Пот со старухи капает, а он терпит, дыхание у нее тоже не ванилью отдает...

Вот в том-то и дело.

Уголовники для таких людей даже термин специальный придумали, «терпилы». Ну, может, не для таких, но Мише очень подходит.

Он потом от этой деликатности специально учился избавляться. Подростком. Когда понял, что так не прожить. Точнее, когда ему окружающие объяснили. Доброжелатели. И почти научился, даже один раз подрался. Заступился сам за себя. Хулиган его оскорбил около парикмахерской, а Миша ответил, в том смысле, что вы не правы. Хулиган

страшно развеселился и ударил Мишу по лицу. Было очень больно и обидно. Миша почти заплакал. Но не заплакал. А хулиган еще два раза стукнул Мишу, и под глазом образовался огромный синяк. Дома Миша не знал, как объяснить маме происхождение травмы, и сказал, что упал. Мама поверила. Или сделала вид, что поверила. Мама не всегда желала знать правду, иногда ей было удобнее поверить в предлагаемые обстоятельства, чтобы сохранить уютный баланс жизни. Или не уютный, а хоть какой. Человеку, бывает, с трудом удается выстроить взаимоотношения с окружающим миром, и избитый сын может мгновенно и неоправдимо разрушить схему.

Но Миша, конечно, на маму не обижался.

На мир – да, а на маму – нет.

Хотя чувствовал тонко, как с листа.

Еще Мишка в детстве любил читать. И тут не поймешь, что следствие чего. Чтение – деликатности или деликатность – чтения. Любимым был гениальный рассказ «Мишкина каша». Очень веселый, очень добрый, очень «свой». И опять совпадение имен, что в детстве всегда кажется знаком, а впоследствии оказывается ничем.

Есть уютное чтение, которое помогает создавать норку, сейчас бы сказали – виртуальную, а тогда Миша никак это не называл, просто любил замкнутые пространства. Каюты, кладовки, бытовки, сторожки, маяки, вагончики, гаражи, закутки, схроны, блиндажи, окопы, доты, дзоты, шалаши, все, что давало хрупкое чувство защищенности.

Он с мальчишками строил такой шалаш, под названием «хибара» в овраге на речке «Парашке», оказавшейся впоследствии рекой с индийским названием Рахма. Почти брахма. Хибару-то они построили, и даже печку из старой стиральной машины там приспособили, но ее, хибару, тут же сожгли местные хулиганы во главе с юным шепелявым уголовником Гвидоном.

Мишка почти не горевал.

В его жизни многое было «почти». Может, из деликатности – не хотелось давить и утверждаться в правах, а может, из-за лени, спасающей от удачной карьеры в обществе. Разве по-настоящему поймешь.

А мальчишки расстроились.

А Мишка уже тогда понял, что так будет всегда. Он строить – они сжигать. Он рисовать – они рвать. Он лепить – они топтать. Он выпивать – они увольнять. Он любить – они предавать (Мишка – художник-неудачник в областном драмтеатре). Он созидать – они...

Так что, когда жена, уходя на работу, крикнула «пока» и выключила свет в туалете, Миша Исаков даже не заорал. А вытер задницу на ошупь, а как по-другому? И пошел дальше жить.

ОДИН ДЕНЬ

Два лучших друга Вася Шлакоблоков и Семен Коржик с утра пораньше решили погулять. Встретились на углу, Вася достал приготовленную бутылку водки, и друзья ее распили. Тут же. Закусили чем бог послал, то есть сигаретой. Потом обнялись и разошлись по домам. Где у Васи злая жена, а у Семы больная мама. И это утреннее распитие – единственная отдушина в жизни. Что, конечно, плохо, с точки зрения подорванного социального и физического здоровья. Но хорошо с точки зрения гуманности и профилактики самоубийств. Потому что спустя некоторое время Вася мог бы повеситься от невыносимой тоски, а Сема спиться вдрызг от того же. То есть не так все это могло случиться, если бы не выпиваемая время от времени бутылка водки возле закрытого киоска, торгующего мясом. А так не произошло. Спасла бутылка.

Два лучших друга Вася Шлакоблоков и Семен Коржик с утра пораньше решили опохмелиться после вчерашнего. Встретились на углу, Вася достал приготовленную бутылку водки, и друзья ее распили. Тут же. Закусили чем бог послал – прихваченной Васей из дома краюхой ржаного. Покурили, обнялись и разошлись по домам. Где у Васи злая нелюбимая жена, а у Семы больная любимая мама. И это утреннее распитие – единственная отдушина в жизни. Что, конечно, очень плохо с точки зрения моралистов, но хорошо как профилактика стрессов. Но моралисты правы, потому что спустя несколько лет оба друга обязательно сопьются вдрызг, замученные: водкой, терпением и обязательствами. Или один из них повесится, а другой сопьется.

Два лучших друга Вася Шлакоблоков и Семен Коржик с утра пораньше решили встретиться около закрытого киоска, торгующего мясом. Встретились, обнялись, Вася достал приготовленную заранее бутылку, и друзья ее распили. Тут же. Без закуски и закурки. Просто так. Поговорили о том о сем и разошлись по домам. Где у Васи злая нелюбимая жена, а у Семы больная мать. И это утреннее распитие было бы единственной отдушиной в жизни (что плохо со всех точек зрения), если бы Вася с Семой не научились потихоньку радоваться жизни. Например, разводу с нелюбимой женой, улучшению состояния любимой матери, повышению на работе, собаке, прибежавшей на свист, новой встрече. А так бы могли спиться вдрызг. Или повеситься. Но бог миловал.

ПОЛУБОЯРОВА

Она врет каждым словом, мадам Полубоярова. Широкая, как рыбацкая плоскодонка, шуршащая платьем-парусом. На ногах сапоги гренадерского размера, на голове – вавилоны. Пальцы в дешевых перстнях (я не видел, точнее, никогда не обращал внимания, но думаю – в них, должны быть). У таких пальцы всегда в крупных перстнях. Заходит – улыбается, уходит – смеется. Душка, в общем.

Она хорошая, просто бесит меня дико.

Своей ложью. Хотя это не ложь. Это ее мир. В нем она права, элегантна и справедлива. Как мы все в своих мирах. Нормальная шиза.

Видит черное, говорит белое, ты ее поправляешь, она удивляется, а разве я не то же самое сказала?

Но ведь это «белое» в нашем нормальном мире, а в ее – «черное». Или синее. Или фиолетовое. Или какая разница, главное, она так видит.

У нас директор тонкий интеллигентный человек в очках с мощными диоптриями, измученный и издерганный повседневностью. На работу приходит, когда захочет, но каждый день. Или не каждый, но по возможности. Или как получится. В общем, творческая неординарная личность.

«У нас» – это в бюро. Лучше так – Бюро.

Мы располагаемся каждый за своим столом. Перед нами мониторы, за нами – зарплата. По бокам коллеги.

Иногда я отвлекаюсь, смотрю на сидящую слева от меня Ленку Голлидэй, похожую скорее (как в известном анекдоте) на симпатичного мальчика, чем на страшную девочку, и думаю, что, возможно, мир и правда бисексуален. Недаром же Шекспир писал: ту би или не ту би? Вот они – би.

Потом сосредотачиваюсь на текущих делах.

Пытаюсь сосредоточиться.

Полубоярова иногда приносит нам работу, «подкидывает халтурку» (ненавижу эти уменьшительно-ласкательные!) и дружит с директором.

Не факт, что и он с ней.

Иногда вместе с мадам приходят какие-то непонятные личности, и тогда Полубоярова устраивает экспресс-экскурсию по нашему крохотному офису. Директора сейчас нет, говорит она в таком случае, потому что сегодня четверг, а четверг – это единственный день, когда у него выходной (наглая ложь).

Дальше она поводит рукой в сторону стены, где у нас развешаны всевозможные дипломы в застекленных деревянных дешевых рамках. Она говорит, все эти похвальные грамоты висят здесь просто так, для антуража, вы ведь понимаете? Не обращайтесь внимания, Полубоярова заговорщицки, по-свойски смеется...

И это наглая ложь.

Я стискиваю зубы, чтобы не вякнуть чего-нибудь неподходящего. Все дипломы, благодарности и прочие поощрения заработаны нашим коллективом в кровавой и беспощадной борьбе с другими капиталистическими акулами в океане мелкого и среднего бизнеса.

Обидно.

Она продолжает врать, а мне наконец-то удастся включиться в работу. Но все равно, взглядываясь в монитор, краем уха я слышу ее бормотание, которое бесит и мешает полноценно трудиться. Заткнись и уйди мысленно молю я Полубоярову. Она не внемлет.

Обвиняю я только себя.

Всегда и только.

И потому, что где-то в самой глубине души считаю, что она несчастное и очаровательное существо (а как же иначе?), и потому, что так принято. Большинство знакомых воспринимает меня как гуманиста, любящего и понимающего людей. Сострадающего. На самом деле это не так. У меня нет ни малейшего сочувствия к Полубояровой. А то, что якобы есть, то, что видится, я выдавливаю из себя на поверхность по капле, как Чехов выдавливал раба. Выдавливаю, потому что от меня этого ждут – Дима Никритин должен быть отзывчивым и интеллигентным. Так меня воспринимают люди. Такой созданся образ.

Но, мне кажется, я об этом уже говорил.

По выходным я хожу в кино в ближайший к моему дому торговый центр. Там покупаю билет в маленький кинозал на последний ряд, сажусь и смотрю фильм. Мне все равно какой, я готов смотреть все подряд. Даже российское. Последний раз рядом со мной сидела одинокая молодая симпатичная барышня с ведерком попкорна. Тогда я утешился: мое одиночество по сравнению с ее – семечки. Я не барышня, не молодая, не симпатичная. Чего мне ждать...

Еще я часто думаю о подступающей старости. О том, как это будет.

Моя семидесятипятилетняя мама говорит, в шестьдесят пять – можешь все, в семьдесят – почти все, в семьдесят пять – сначала думаешь, сумеешь ли, – потом делаешь. Она имеет в виду оцениваешь свои силы.

Я прикидываю (не в первый раз), сколько лет мадам Полубояровой. Определить трудно, но однозначно гораздо больше чем мне, и ничего – жива, здорова, всепобеждающая. Убедительна. Самодостаточна (вот еще ненавистное слово, после «энергетики» на втором месте).

Завтра новый рабочий день. Я жду и не жду его одновременно. Утром встану, почищу зубы, побреюсь, доеду на троллейбусе до офиса, поднимусь, войду, усядусь за свой стол и начну работать. Потом придет Ленка Голлидэй, потом Павлик Плохов, следом Павлик Башмаков, а ближе к обеду мадам Полубоярова.

Придет и начнет врать.

А я ненавижу.

И молчать.

Хотя мне не семьдесят пять лет. Но у меня ощущение, что я уже. Сначала думаю, а потом делаю.

Или не делаю.

Не делаю, конечно.

ГЕРМАН

У Германа зрение так себе – возраст, плюс занятия с тяжестями с самого детства. А очки не хочет покупать, считает, ни к чему. Устраивает его такая приятная размытость – грязи не видно. В общем, ходит без очков.

Из-за этого все чаще попадает в дурацкие ситуации. Не узнает знакомых, которые обижаются. Намедни Ирку Чехову на рынке не узнал, срамота.

А третьего дня ходил на похороны штангиста Ивана Ивановича Зуммера.

За столом, понятно, все больше коллеги по боевой юности – тяжелые атлеты. Некоторые очень тяжелые, а некоторые – ничего, можно общаться. Очень Герман любит словечко «общаться», вворачивает где ни попадя. С Сашкой, ему сейчас, наверное, уже за семьдесят, вместе хулиганили по месту жительства на площади Сенной, а с Колькой тренировались на «Воднике», с Пашей ездили на соревнования и сборы, с другим Колькой тоже вместе выступали.

Герман тогда с хулиганством завязал и ушел в спорт, который его спас от тюрьмы. От сумы не спас, а от тюрьмы – пожалуйста. В школу не хотелось, а на тренировку хотелось. Сидел зимой в подъезде, а летом болтался около рынка, ждал время. Радостно бежал на стадион, у них там под трибунами было место для занятий – тяжелоатлетическая секция. Помещение неотопливаемое, но это все ерунда, быстро разогревались так, что пар валил.

А сейчас сидят, поминают штангиста Ивана Ивановича Зуммера, что помер. И как полагается, после третьей рюмки, минут через сорок, заговорили о постороннем, в данном случае былом. Вместе же росли. А встречаются сейчас, ясно где – только на похоронах. Все так. И Герман возьми да ляпни, что силы еще ого-го, и он спокойно присядет со ста шестьюдесятью килограммами на плечах. Да иди ты, заржал Паша Башмаков, а друг Сашка подтвердил: Герман сядет! Не сядет, влез Леня Зайков, ни за что, года не те. – Те! – Не те! – А я говорю, те! – Тю?!

Короче, поспорили, «забились», как у них было принято говорить. Дайте только мне две недели на подготовку, попросил Герман. Да пожалуйста. Ну и ладно. А призом у них стал коньяк, и не простой, а дорогой, не дешевле трех тысяч рублей. «Пятизвездочный?» – спросил Герман. Сейчас по-другому меряют, научил его друг Сашка, сейчас все по цене.

Забились и забились. Герман, как вполне себе ответственный товарищ, отправился в ближайший к дому спортзал тренироваться. Лежа жмет, приседает потихонечку, по утрам еще вокруг парка «Дубки» бе-

гает вместе с собаками и алкашами, старается. А что-то не идет. То есть идет, но вяло, присел, допустим, с восьмьюдесятью кило – нормально, аж на пять раз, а дальше боязно, нет уверенности. Но дополз-таки до ста двадцати, как-никак старая школа – советская, лучшая в мире, а его, Германа-юниора, вообще сам Алексеев хвалил в далеком семьдесят первом, мол, техника на загляденье. Вот на этой технике и присел сто двадцать. И все... Решил уже за коньяком отправляться. Черт его знает, как выбирать, Сашке позвонит.

И вдруг поперло!

Помнил он это чувство отлично. Когда тело становится цельным и переполненным вырывающейся наружу силой сосудом. Нет, не сосудом, взведенным курком, пружиной – нажми, едва коснись – и выстрелит. (Тут ему в голову полез неприличный пример для сравнения, но Герман его быстро прогнал.) Вваливаешь на плечи сто пятьдесят, опускаешься вниз – сжимаешь стальную пружину в низшей точке, подрываешься и, распрямляясь, плавно, на мощнейшей тяге, поднимаешься вверх, радостно не чувствуя огромного веса.

Так и сделал, подлез под штангу, снял и спокойно присел пять раз.

А я что говорил?

Сашка, что крутился рядом при контрольном приседе, охнув, заснял, как самый технически продвинутый, несмотря на свои семьдесят лет, все это дело на телефон и позвонил Лене Зайкову. Абзац тебе, Заяц, сказал Сашка. Герман сто пятьдесят на пять сел, сто шестьдесят на раз – вообще не вопрос, беги давай за кониной! И заржал. Хочешь, видео скину? И скинул. Так что давай, готовь три штуки, орел.

Но орел после этого звонка пропал.

Выпал из обихода.

Ни на звонки, ни на письма не отвечает. То ли денег стало жаль, то ли обидно, что сам так не может. Скорее всего, денег.

Герман с Сашкой посудили-порядили и решили плюнуть. Чего с него взять, он и в детстве был говнюком.

Хотя горечь, конечно, осталась.